

A black and white portrait of Yuri Lyubimov, a middle-aged man with light-colored hair, wearing a light-colored button-down shirt. He is looking slightly upwards and to the right with a serious expression. The background is a soft, out-of-focus grey.

**Юрий
Любимов**

МОЯ ВОЙНА

**Во фронтовой
«культбригаде»**



Моя война

Юрий Любимов

Во фронтовой «культбригаде»

«Алисторус»

2019

УДК 323 (470+571)

ББК 66.4(2)

Любимов Ю. П.

Во фронтовой «культбригаде» / Ю. П. Любимов — «Алисторус»,
2019 — (Моя война)

ISBN 978-5-907120-39-6

Юрий Петрович Любимов – культовый советский и российский театральный режиссёр, создатель и руководитель «Театра драмы и комедии на Таганке». Юрий Любимов был призван в армию во время советско-финской войны, а в годы Великой Отечественной был ведущим артистом Ансамбля песни и пляски НКВД, много раз выступая в составе «культбригад» перед бойцами Красной Армии непосредственно на линии фронта. В своих воспоминаниях он описывает военные годы, рассказывает о тяжелой солдатской школе, которую ему довелось пройти; пишет о том, как в 1941 году фронтовым артистам приходилось порой вместе с солдатами и ополченцами отражать в окопах немецкие атаки, уничтожать вражеские танки «коктейлем Молотова», а потом давать концерты перед советскими воинами, по личному указанию Лаврентия Берия поднимая дух защитников Москвы. Довелось Любимову побывать и в Сталинграде, и в иных самых напряженных местах боев, ведь Ансамбль НКВД считался «передовым» во всех смыслах этого слова.

УДК 323 (470+571)

ББК 66.4(2)

ISBN 978-5-907120-39-6

© Любимов Ю. П., 2019

© Алисторус, 2019

Содержание

Моя семья	7
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Юрий Любимов

Во фронтовой «культбригаде»

© Любимов Ю.П., правообладатели, 2019

© ООО «Агентство Алгоритм», 2019

Моя семья

...Я помню, как меня крестили. Мне кажется, что первое мое впечатление от жизни – это купель под водой: меня окунули в чашу серебряную – ух! – и я вышел. Наверно серебряную, потому что уж очень она сияла. И вода в сиянии в сильном вибрирует... Меня ведь не маленького крестили.

И мне эта купель все время мерещится, преследует...

Я хорошо помню трагическую участь деда, как его глубоким стариком выгнали из дома, и он ничего не понял, он думал, что это просто хулиганье, бандиты пришли его грабить. Он был сильный старик, стал их прогонять из своего дома, взял коромысло, ему было восемьдесят шесть лет. Они его выкинули на снег, и с ним был инсульт. С трудом его все-таки родственники отходили, посадили в поезд, и он приехал с бабушкой в Москву.

Отец в это время сидел, и встречал деда на вокзале я, мальчишкой совсем. Сколько мне было? Лет 11 – коллективизация начиналась, 29–28-й годы – 10–11 лет. И я помогал носить вещи деду, он плохо ходил после удара, рука не работала, и я до сих пор помню, как за то, что я ему помог перетаскать на третий этаж все их нехитрые пожитки, он дал мне большой серебряный рубль. Я был удивлен и пролепетал:

– Что вы, дедушка!

Дед наставительно произнес:

– За всякий труд надо платить. Вот они не платят, и ничего у них не получится. Запомни, внучек...

Дед и бабка были крепостными. Когда отменили крепостное право в 1861-м году, они очень рано женились и он очень умело вел хозяйство. Он был грамотный, очень верующий, был церковным старостой, пользовался большим уважением в деревне. У него был великолепный сад, его руками сделанный. Дом стоял – хороший сруб в два этажа, крытая железом крыша, хорошо покрашенная. Мы любили по ней бегать, а дед гонял.

Дед жил в деревне Абрамово, а я родился в Ярославле тридцатого сентября 1917 года – за несколько дней до революции все-таки я успел проскочить. Вера, Надежда, Любовь, мать их Софья и я. Никогда цветы нельзя было в этот день подарить – все разбирали для дам! С пяти лет моя семья переехала в Москву.

Ярославль – это древний русский город на Волге. И там первый театр – театр имени Волкова, при Екатерине Второй основанный. С великим русским актером Волковым. Большой, классический театр, с колоннами, с портиком – очень красивый старый театр.

Отец потом привозил нас к деду. Он уже был довольно состоятельный. И все равно дед оставался главой семьи. Все садились за стол, и только с разрешения деда, после молитвы, все начинали есть. И отец деда всегда называл на «вы», так же как я отца всю жизнь: «папа, вы».

Видимо, это было несколько лет – в деревню мы приезжали на лето. Сперва я помню, мы с братом приезжали, значит, еще Наташи не было, а потом мы втроем приезжали. Значит, это несколько раз было. И в ночное лошадей там гоняли, и на сеновале прыгали и спали. И помню еще всякие эпизоды такие: как двоюродные братья мои, здоровеннейшие – род был сильный, – они, если выпивали, то жеребца – рыжий жеребец был прекрасный, звали его Барон, – они подлезали под него и таскали, кто дальше пронесет, сколько шагов. Такие развлечения. В городки они очень любили играть – с коваными битами, – одной лаптой вышибали фигуры. Лихо играли, деревня на деревню. Ну потом, конечно, и страшные драки я видел, деревня на деревню.

...Мне врезались какие-то черты детства. Например, когда я прыгнул со стола. Дед сказал:

– Выгони корову из сада, – а я на столе танцевал. И я прыгнул и попал на осколки стекла от керосиновой лампы, и они у меня в пятку вошли. Ну, и мама стала кричать:

– Господи!.. Скорей... врача!

Дед ей сказал:

– Замолчать!

Мне дал хорошую подзатрещину, положил на колено, вынул перочинный нож, прокалил его на спичках, вытер и потом начал выковыривать все стекла из пятки. Я стал орать, он мне изредка давал подзатыльник, чтоб я прекращал орать.

Он все выковырял, посмотрел, что нет там стекол больше, залил йодом, перевязал ногу, отнес в сад и сказал двоюродной сестре:

– Сорви ему яблоко и ягод.

У него были прекрасные яблоки, антоновка, черная смородина, малина, – замечательный сад. И мне врезалось, что дед разрешил, а двоюродная сестра сразу стала воровать: набирать за пазуху яблок – и я это помню. Потому что мне было больно, и все-таки я ей говорил:

– Как тебе не стыдно, Пашка? Дед тебе разрешил взять яблоко, а ты воруеть и столько набрала яблок!

Это вот какие-то первые понятия, что плохо, что хорошо, что нельзя врать. Как можно не слушать деда! Видите, это врезается на всю жизнь.

И так же он плавать меня учил. Взял в охапку и бросил в пруд – там карасей мы ловили – и я выплывал. Я выплыл с трудом – ну так, по-лягушачьи, он опять меня бросил. Таким образом я стал плавать.

Он замечательно собирал грибы, он их фантастически находил. Я смотрел за ним, и он меня научил, как собирать грибы. И когда он был уже не в себе, гонял меня:

– Уйди, чего ты за мной все ходишь.

А я боялся его одного оставлять. Я отбегал, а потом опять приходил, чтобы отвести его домой...

Дед носил окладистую бороду, имел иконописное лицо и мне всегда напоминал Николая Чудотворца.

В Москве дед был совсем мало, он был раскулаченный, и его надо было скрыть. Поэтому отец, видимо, и снял в Малаховке, по Казанской дороге, дачу, и дед там жил с бабкой.

Там он и умер, и я хоронил деда мальчиком и всю ночь смотрел на лежащего мертвого деда. Потому что никого не было, была бабка живая еще. Но он умирал совершенно как святой, ночью крикнул:

– Вставай, приведи священника!

Это было в Малаховке, и я бегал по этой не то дачной местности, не то деревне ночью. И отыскал священника, привел. Священник отпевал деда, свеча у деда горела, он сказал бабке свои наставления, потом мне сказал, что я должен передать Петру. Он так отца звал – Петр. И по библейски совершенно – закрыл глаза и отошел.

* * *

Папа увидел мою маму на балу в гимназии, она с лестницы спускалась, бежала. А он такой шкет был из коммерческого училища. И он влюбился сразу.

Мама была полуцыганка, и дед был очень недоволен этим браком. Мой другой дед – по линии матери – был чистый цыган, но оседлый. Он очень любил лошадей и на выезд держал двух лошадей всегда. Просто из любви к лошадям, хотя не был богат.

Отец был у меня коммерсант, довольно состоятельный и образованный человек. У него был такой вид, что нигде билета не спрашивали, даже советские. Очень импозантный был вид.

Выше меня, шире. Очень любил красивые вещи, очень женщин любил. Входил в комнату и говорил маме:

– Анна, парадно! Сними все чехлы в гостиной. Зажигай люстры. Поставь красивый сервиз кузнецовский.

Мама в испуге говорила:

– Кто-то придет? Ты не предупредил, Петр!

– Никто не придет, мы будем сами.

– Ну, а зачем нужно все снимать?

– Я хочу, чтобы сегодня было все парадно. Я люблю, когда все красиво.

Он очень любил это. Я всегда поражался и спрашивал:

– Папа, зачем так?

Он говорил:

– Ах, ты ничего не понимаешь. Это же красиво. Жизнь одна. Надо уметь жить...

Ну, его и посадили, конечно. Барин, нельзя было терпеть.

– Ну-ка, голубчик, обгони этот трамвай! – Это он на лихаче катит меня из Сандуновских бань. – Порадуй мальчика моего, давай, обгони трамвай!

Тот:

– Сделаем, Петр Захарович!

И тут же эту «аннушку» обходит – трамвай носил букву «А» вместо номера...

Он своеобразный человек был: независимый, властный – после смерти деда он стал главой нашей фамилии.

Очень любил историю. От него осталась библиотека прекрасная. Там и Карамзин, и Соловьев, и Костомаров, и много других хороших книг. Отец любил их читать и приучал и нас читать. Нам не всегда хотелось, но что-то, даже Карамзина, я помню.

После того, как меня лишили гражданства, часть книг осталась, а часть куда-то исчезла. У меня в квартире в Сокольниках было очень много книг – в два раза больше, – многие еще от папы.

...Папа работал в какой-то шотландской компании, которая торговала рыбой. Рыба, икра, сельдь. Это я по разговорам только помню.

Потом у папы в Охотном ряду был магазин. С купцом Головкиным. Соления: огурцы, грибы, сельдь; все мочености: яблоки моченые, арбузы, всевозможные капусты, – магазин солений.

Я, конечно, там бывал часто. Очень чисто все. Это где сейчас гостиница «Москва». Охотный ряд шел с двух сторон: где потом был Совет министров, Госплан (а сейчас Дума), и с другой стороны гостиница «Москва» – вот это и был Охотный ряд.

Если вы идете от Театральной площади, то слева, а если от Манежа, то справа.

Это сперва был магазин их вместе: «Головкин и Любимов». Я помню, что Головкин Сергей (Ионыч) жил за Плющихой в каком-то переулке, у него был деревянный дом с участком, там были склады. Я помню, что у отца были большие склады, огромные бочки-дошники, где солили капусту, и как сидели эти бабы, а мы ребяташки все туда бегали есть кочерыжки, когда капусты разгар, засаливали на всю зиму эти огромные кадки. У самого берега Москвы это было. Это был большой участок земли, наверно гектара полтора-два – там были большие склады для этого магазина и, видимо, для оптовой продажи.

В двадцатые – тридцатые годы папа работал – если по старым понятиям – коммивояжером. Он часто менял работы. Иногда его приглашали где-то консультировать. Потому что он был человек, видно, в коммерции сильный и в таком молодом возрасте уже стал довольно состоятельным господином. А потом, видимо, когда менее компетентные люди, которые пытались еще что-то в кооперации делать, – они к нему обращались за помощью. Он умел разговаривать с людьми, налаживать контакты, понимал в соленьях, в грибах, в рыбах, и так далее.

Во время войны было, конечно, как и у всех, жалкое существование. Он где-то работал, и мама работала, но, я помню, когда увольнительная у меня была, я приносил все, что мог, какой-нибудь пшеничник или сухой паек, если мне удавалось получать. Нас посылали куда-нибудь – я брал сухой паек и скорее бежал к ним. Был комендантский час в Москве, поэтому я бежал к ним – бегом туда и обратно в казарму.

После войны папа где-то еще пытался работать, а потом вышел на пенсию. И неожиданно очень – он никогда не пил и не курил, он видел братьев, которые сильно пили, у него какое-то отвращение было к этому, – такая сложная болезнь в старости, 72 года, – туберкулез и диабет. Одно исключало другое. Лечили тогда плохо, как и сейчас, медицина у нас всегда была скверная, и он очень быстро сгорел. Он умер, как раз когда я поставил «Доброго человека...», он даже не посмотрел, все интересовался. Помню, я его из больницы брал и не знал, что делать. Врачи говорили, что ему нужен уход, а он говорил, что нет, «я хочу умереть дома».

Я врачам сказал: «Нет, раз он хочет умереть дома, я его возьму». И я с Димой, мужем моей сестры, полковником медицинской службы, привез его домой, на Фрунзенскую. Помню, когда я подходил, он отстранял меня рукой – боялся, что я могу заразиться. Все измучились, мы маму отвезли к сестре. И брат измучился, я брату сказал:

– Ты все-таки поезжай поспи.

Мы остались с Димой, и он на наших руках умер.

Еще я немного прикорнул, ночью не спали, и вдруг Дима вбежал и сказал:

– Юрий, отец умирает.

И я видел, как угасает человек.

* * *

В Москве мы жили в Земледельческом переулке, дом 3, квартира 9, третий этаж.

Долго мы там жили, нас там уплотняли. Помню, четыре сестры были вселены в кабинет папы со всей мебелью. Я очень запомнил вертящийся такой стул венский – вертушка. На нем была стилизованная охотничья табуретка, какая-то на таких копытах... и письменный стол папин роскошный – большой, красного дерева. Стол-то он взял, а какие-то вещи остались, ведь раньше весь этаж был папин в этом доме.

И там поселились четыре сестры – Песя, Сара, Мера, Фаня. А у меня был пес Дезик, которого я очень любил, – маленькая собачонка. Типа овчарки, но полудворняга. И он постоянно «пысал» в их галоши. Были все время скандалы. И мама оправдывалась, извинялась. Потом, видно, этого Дезика они сдали в собачник. Тогда ездили по дворам, собирали бездомных собак.

Мы с братом бегали туда, где у них своз был, чтобы убивать, и искали нашего Дезика. Помню, это было большое горе. Но так этого Дезика и не нашли. И мы в отместку достали молоток, гвозди и прибили их галоши к полу. И был дикий скандал. Нас обвинили в антисемитизме, писали доносы. Хотя мы тогда не понимали, при чем тут «антисемитизм» и что это такое.

Просто нас удивляло, и я говорил:

– Ну как же, мама? Там же вся наша мебель, мы там играли, в той комнате. Они же в нашей комнате живут. Почему же они и Дезика отняли?

– Ну потому что вы хулиганы, нельзя такие вещи делать.

Мы говорим:

– Но они собачку нашу сдали, там ее убили.

Я помню, что брата в милицию взяли и посадили, потому что тогда в газетах печатались уже списки лишенцев – людей, которых лишали прав, и мы как дети лишенцев уже подвергались остракизму.

Потом у нас была двухкомнатная квартирка на Фрунзенской набережной – маленькая очень. Иногда послы удивлялись. А они меня провоцировали – послы:

– Вы знаете, у вас все-таки странно: никто не приглашает в гости.

Я говорю:

– Что вы?! Это вам так кажется!

– Так пригласите.

– Да на здоровье. Поехали.

– Как?

Я говорю:

– Только вот я не за рулем сегодня.

– А вы не боитесь сесть в машину посла?

– Да кто вам все такие глупости говорит? Поехали. Я только не помню, есть у меня выпивка или нет.

Тот говорит:

– Ну, это мы захватим.

И потом, когда посол входил, он говорил:

– Простите, это ваша квартира?

Я говорю:

– А чего? Заходите. Сейчас все сделаем. Все будет нормально. – Балкончик, турник показывал, как я подтягиваюсь. Потом после нескольких таких визитов меня вызвали. Сказали:

– Почему вы не просите квартиры? Как вам не стыдно приводить иностранцев в такое жилье, позорите нас.

Это было, когда уже существовал Театр на Таганке.

В этой квартире и умер папа.

* * *

Пожалуй, самое сильное мое первое театральное впечатление, это когда папа привел нас во МХАТ смотреть «Синюю птицу» Метерлинка.

Папа привел меня, старшего брата Давида и Наташу. Почему мне это запомнилось очень? Я был ребенком, Наташа совсем маленькая, и я помню, как там появился Огонь и начал махать языками пламени; там же персонажи все такие – Пес, Кот, Огонь, Ночь и так далее. Там летали такие птицы. И она испугалась и под стул полезла, а старший брат стал ее успокаивать: «Что ты, это же глупости», – но она все равно забилась под стул и плакала. Мне тоже было страшно, но я сидел и делал вид, что я не боюсь. Я как старший смотрел спокойно, и я ее, позоря, вытаскивал из-под стула.

Мне запомнилось: вся атмосфера, как папа привез, в ложу посадил нас, все это чинно, капельдинеры – это совершенно другой мир, который сейчас потерял.

Он водил и в Большой, и в Художественный театр нас, детей.

Какой же это год? Раз была Наташа, а я пошел... не помню, в какой класс, значит, Наташа была совсем маленькой. У нас разница с ней четыре года. И между мной и старшим братом тоже почти четыре. В 1914-м году он родился, а я в 1917-м. И значит, раз Наташе было, наверное, лет пять, могли уже пустить ее, значит, мне было уже лет девять или десять, а старшему четырнадцать.

Потом еще один спектакль я до сих пор помню. Когда я видел, как Станиславский играл «Горе от ума» – Фамусова. Там играл и Качалов – целая плеяда блистательных старых мастеров – Москвин, Качалов, Лужский, Репетилова. И важно, что я все помню детально: полукруглая печь дровяная, вокруг нее диван красного дерева, и Станиславский в сцене со Скалозубом просил его:

– Сюда, сюда садитесь, вам тут удобней. – И залезал на диван и открывал отдушничек – оттуда, казалось, вырывался жар. И меня поразило, какое все было натуральное: настоящая медная заслонка, которая открывалась, оттуда тепло шло.

Я до сих пор так и вижу начищенную до блеска медную эту штуку и как огромный, солидный человек лез, сажал, очень подробно все помню детали. Но это уже более позднее воспоминание.

Вот первые два воспоминания о театре: одно символическое, другое реалистическое. Интересно, что я запомнил детали и того, и другого. Я помню, мне очень понравились костюмы, как это сделано: персонажи и реальные, и сказочные. Я не перечитывал, а с тех пор помню: Огонь, Вода, Кошка, Собака, Тесто. Я все хотел такую же сказку сделать для детей.

И в своем искусстве я ближе, безусловно, к Метерлинку. Я с удовольствием бы ставил «Горе от ума», но только совсем в другой манере. И – так странно судьба поворачивается – одна из моих постановок в Москве – в новом театре – это «Три сестры» Чехова. И, когда я его ставил, я снова столкнулся с Метерлинком – оказалось, что в письмах этого периода Чехов много говорит о Метерлинке.

* * *

У папы была своя ложа в театре, а может, он брал эту ложу. Это, наверное, еще до первого ареста, потому что после ареста вряд ли он мог ложу брать. 26-й год – это нэп и еще никого не брали. Когда мама сказала мне, что папу арестовали, – это я помню, потому что мне стало нехорошо и я упал в обморок. И мама очень строго сказала: «Встань! Мальчик не может так себя вести!» То есть – строгости, не то что «Ай-яй-яй!». У меня действительно закружилась голова, и я упал, но быстро пришел в себя. Вот это я помню. Потом маму арестовали в Москве и отвезли в Рыбинск, рядом с Ярославлем, у них такая методология была – по месту рождения, чтобы сразу оторвать от семьи. Ведь они специально это делали, чтобы дети остались...

И был момент в жизни, когда вообще мы остались втроем: сестра, я и брат – взяли и мать, и тетку, и отца. У отца хотели забрать деньги – это еще был период не политический. А когда они деньги отбирали, тогда в Москве были созданы Торгсины – это есть в «Мастере и Маргарите» Булгакова. А мать взяли, чтоб повлиять на отца, мол, «дети остались одни – раскошеляйтесь, тогда вернем мать». Отец был гордый, сильный, он ничего не говорил им, и у него не было таких денег. Тогда мать не выдержала, конечно, и, когда они приехали к ней, отдала все свои драгоценности: серьги, кольца и так далее – она боялась, что мы останемся одни. А я возил ей, совсем маленький, передачу в тюрьму.

Я совсем мальчишкой поехал в Рыбинск, повез ей передачу. Мне было лет десять, наверно, не больше...

Она была в тюрьме несколько месяцев. Потом она вернулась, но я успел ей отвезти передачу. И мы втроем заседали: сестра, я и старший брат – и решали, кому везти передачу. И выбрали меня, что, мол, меня все-таки не возьмут. А я сказал брату:

– Тебе нельзя ехать, тебя могут посадить.

Вот такая школа. И несмотря на это, он был убежденный комсомолец, организовал какую-то коммуны, работал. Я у них мальчишкой даже поваром был, им кофе из желудей варил, тогда были карточки, жизнь была очень тяжелая, трудная. Но пропаганда сумела, видите, так мозги затуманивать людям бесконечно, что надо терпеть во имя их скудоумных химер.

Сейчас, спустя много лет, я понимаю, каким я был дураком. Ну, если мы с братом – брату было четырнадцать лет, а мне десять – могли говорить нашему бедному отцу:

– И правильно вас посадили, папа, потому что вы отсталый тип...

А я, маленький щенок, – за брата, конечно. Я боялся, но хорохорился и тывкал за старшим. Папа ничего не сказал, просто такую пощечину ему дал, что он покатился под стол, мет-

ров пять летел и застрял между тумбочек письменного стола красного дерева с зеленым сукном – туда как шар бильярдный – бух! Он гордо вылез оттуда, ну и мы с ним ушли из дома. Я ушел к приятелю, Преображенскому, как доктор в «Собачем сердце», был замечательный детский врач Сергей Иванович Преображенский...

Мой дорогой отец горько заблуждался: он ни секунды не сомневался в том, что это должно рухнуть. Он мыслил примерно как Бунин в «Окаянных днях». Но считал, что это должно рухнуть, поэтому он не уехал.

Это как у Эрдмана в его пьесе «Мандат»:

«Тамарочка, погляди в окошечко, не кончилась ли советская власть?» – «Нет, Сенечка, кажется, еще держится». – «Ну что же... опусти занавесочку, посмотрим, завтра как».

Потом через полгода взяли мать. Прошло тоже месяца три. Им показалось мало, они взяли тетю Дуню, чтобы мы совсем остались одни. Мы остались одни. Мы продавали очень хорошие книги, и взрослые нас обманывали. Там была уникальная книга «Горе от ума» – на слоновой бумаге и с такими иллюстрациями, мы все смотрели – замечательно – огромная книга. Видно, их вообще было выпущено сто экземпляров. И такие книги взрослые у нас покупали – за бесценок! Потому что нам не на что было жить...

* * *

У меня была маленькая сестричка, которая умерла, а нас осталось трое – Наташа, сестра, и брат Давид. Его дразнили в школе: что еще за «Давид». Брат очень расстраивался, что его ребята в школе дразнят. А папа с фантазиями у нас был, он говорил:

– Просто ослы твои мальчишки. Я тебя назвал в честь победы Давида над Голиафом.

Он был очень вольный человек, но, видимо, не учел антисемитизма, за что брат дорого платил (много дрался в школе). Его били как еврея.

Мама меня пыталась учить на фортепьяно. Я сперва ногу сломал – нечаянно – и уговаривал маму, что мне трудно на педаль нажимать, она, бедная, согласилась с этим доводом, а потом я руку сломал. Тоже не нарочно. Я брата своего родного довел, бедного, – замечательный был человек – до того, что он в меня утюгом запулил. И я от него бежал, и нога у меня попала в перила, в переплет – сломалась. А рука еще хуже сломалась. Я радиофицировал школу – у меня даже грамота была, но потом потерялась, «За электрификацию школы». И я полез вверху проводить, и шнур запутался за бюст Ворошилова, который высоко почему-то стоял – я не знаю, почему, наверно, чтобы школьники не трогали. И я упал оттуда на планшет сцены – в школьном зале – и на меня грохнулся ворошиловский бюст медный и прошиб сцену. И пока я падал сверху, я сломал руку о сцену, о край планшета. Видите, значит, уже я был связан с подмостками при помощи товарища Ворошилова...

Конечно, мама от меня натерпелась. Со мной, как с Епиходовым из «Вишневого сада», все время приключения.

Мама меня учила, как всех детей: и сестру, и меня, и брата, – я учил немецкий и на фортепиано – танцам. Но потом стал монтером. Уже, значит, столкнулся с другой жизнью. Когда нас водили в ФЗУ в столовую, то там ложки были цепочкой привинчены к столам – чтобы не воровали (видите, на всю жизнь врезалось, ведь значит, их никогда не мыли!).

Брат у меня забавный был. Интересный очень, замечательный человек. Вместе с ним мы увлекались, читали все эти приложения к «Огоньку» – библиотека «Огонька»: Фенимор Купер, Джек Лондон. У него дар был большой к живописи. Он водил меня на этюды, приучил всматриваться в природу, я полюбил ее красоты, свет и тень, цвета, как они меняются, солнце и так далее. У него были прекрасные этюды. Но когда ему шестнадцать, а мне двенадцать – это играет огромную роль. А он стал заниматься живописью очень рано. Он ходил на этюды

всегда: осенью, когда листья падают, или весной, когда цветут сады, выбирал красивые пейзажи и всегда обращал внимание мое:

– Смотри, какой красивый свет!

Я, например, считаю, что поэтому у меня такая любовь самому ставить свет в театре – я всегда делаю сам свет, во всех своих спектаклях, то, что не принято на Западе, – наверно, это где-то заложилось уже давно, в детстве.

Это был замечательный, добрый человек очень, трудолюбивый. У него все тетради школьные получали премии. Гербарии он собирал. У него был замечательный почерк. Ну, он просто имел дар. И я ему обязан многим. Так сложилась жизнь, что потом он ведал полиграфической промышленностью, много выпустил детских книг прекрасных. Сперва он работал на полиграфической фабрике директором, потом стал многими фабриками руководить, потом Косыгин назначил его ведавать полиграфической и детской промышленностью игрушек, был почти что на правах министра, больше чем начальник главка.

Он был беззаветный работник, на таких Россия держится. Недаром Демичев сказал:

– Какой у вас брат замечательный! В кого вы такой злой?!

– Это только для того, чтобы оттенить вашу доброту, Петр Нилович!

Видите, даже сам Петр Нилович отметил брата, как и я. Значит, были же у нас общие точки! А тут никак мы не могли найти точки, что касается взгляда на искусство.

Косыгин отправил брата со ста тридцатью рублями на пенсию и отнял больницу. И я ему написал письмо:

«У брата моего никого нет, он у меня один. И я к Вам обращаюсь, уважаемый председатель Совета министров. Он ишачил на Советскую власть на износ всю жизнь, как лошадь. Благодаря таким и стоит ваша власть. Больницу хоть верните, прошу вас». И передал, конечно, через людей, которые могли положить ему на стол. И вот председатель Совета министров с барского плеча написал: «Вернуть больницу». И прибавил брату десять рублей.

* * *

Я ходил в школу в Кропоткинском переулке, где финское посольство. Из Земледельческого переулка я бегал в школу пешком. По Долгому переулку на кольцо «Б», тогда там бульвары были замечательные, ходила «Букашка». А Долгий переулок соединяет Плющиху с Зубовской площадью. Я еще помню, когда ходил фонарщик и зажигал фонари газовые.

Рядом со школой церковь была, которую закрыли. И помню, первое мое упрямство проявилось, когда учительница сказала:

– Дети, давайте проголосуем, что они мешают нам учиться.

Ходили в эту церковь пожилые люди, на Пасху красиво, на праздники церковные. А моя парта была у окна, и часто я с большим интересом смотрел, как идут в церковь, так как дед водил меня в церковь, я даже мальчиком прислуживал.

Это в нулевом классе было. Учительница потребовала, чтобы мы проголосовали за закрытие церкви – дети.

И я не поднял руки, чтобы закрыть церковь.

– А ты, мальчик, почему?

– А зачем? Мне они не мешают.

– Тебя родители научили?

– Нет, никто меня не учил. Это я сам, не хочу.

– Но ты же видишь, все подняли руки.

– А я не буду поднимать.

– Иди домой, пришли маму.

Я пошел домой, сказал маме, и мама сказала:

– Ну зачем ты так?

– Потому что они сказали, что это родители меня научили. Ты же меня не учила этому. И потом, видимо, мама ходила, там чего-то говорила. И учительница сказала:

– Я говорила с мамой. Тебя плохо воспитывают родители.

Я сказал:

– Неправда. Родители меня воспитывают хорошо.

– Но это все-таки они тебя научили.

– Это неправду вы говорите, они меня не учили.

– Твоя мама сказала, что тебя научили они.

Бедные родители!..

Потом я перешел в школу на Крымской. Потому что тогда десятилетка образовалась. Сперва девятилетка, потом десятилетка. И хотя у меня прошлое было – «сын лишенца» и так далее, хотя отец и развелся. Понимая, что грозят такие вещи, он оформил развод, чтобы детей меньше трогали. Но это все равно не помогло. И я тогда пошел в ФЗУ, потому что меня научили люди, чувствовавшие политику советскую, что я должен зарабатывать стаж рабочий, тогда от меня отстанут, и мне будет легче жить. И у меня трудовая книжка, где идет рабочий стаж с 14-ти лет. В 14 лет я закончил семилетку и пошел в ФЗУ. И тем, кто шел в ФЗУ, поощрение было – сразу начинался рабочий стаж. А если я имел несколько лет рабочего стажа, то я мог уже поступить в институт. Ну, закончить быстро подготовительные курсы в вузы. Для рабочих были специальные подготовительные курсы – полтора года.

И я уже все эти курсы начинал проходить, чтобы поступить. Но я обязан был после ФЗУ отработать три года, что ли. Но тут я, окончив ФЗУ и получив высокий разряд, вместо того чтобы отрабатывать – поступил в театральное училище – к прискорбию папы!

У мамы была подруга Анна Степановна Троицкая, по-моему, она и советовала...

– Может быть, Юре начать с рабочего стажа. Потом ему легче будет дальше поступить в университет.

Я хотел поступать в Энергетический, поскольку я кончил с высоким разрядом ФЗУ, у меня были какие-то преимущества при поступлении. И я готовился поступать. У меня были какие-то грамоты, как я радиофицировал всю школу, проводку там делал. У меня к технике были склонности.

И вдруг ни с того ни с сего... Ну не совсем ни с того ни с сего, потому что я что-то в самодеятельности играл. В школе. Уже в той, на Крымской площади. Какая-то дама вела. Забыл. Почему я это помню: было у тети Насти, которая тоже жила с нами – папу же уплотняли и он дал большую комнату тете Насте, а у нее было чучело орла. И я тихонько выдернул оттуда перья и сделал себе наряд индейца. Читал какие-то стихи. Я не помню, чьи же это стихи. Что-то:

Я индеец Эпиваха,
Никогда не ведал страха,
На медведя я ходил
И зверей без счету бил.

Костюм шили коричневый из коленкора, брюки с бахромой, я соорудил себе перья – из чучела орла тети Насти. И еще помню – такая большая книга была сделана, и мы вылетали из этой книги.

Потом я с увлечением бегал в кружок имени Айседоры Дункан. Айседора Дункан приехала в Москву и организовала ряд школ в Москве. И в одну из школ меня отдала мама учиться. И я с удовольствием там с ребяташками учился несколько лет. А отдала меня мама по такой

причине. Мама пришла с подругой, а я оставался один, несколько часов играл, ну как все дети, мне, наверно, было лет пять-шесть. И мама спросила:

– Что ты, Юра, крутишься?

А меня звали «ругуть», я очень непоседливый был.

Я говорю:

– Я не кручусь, я танцую.

– Как? Что это за танцы странные какие-то?

– Как? Ничего странного, это танец волосины. Когда ты завиваешься щипцами, если взять один волосок выдернуть, между ногтями его зажать и сделать: тр-р-р! – он сворачивается в пружину. – И выдернул волос из головы и показал ей: вз-з-з-з! и д-р-р-р! – вот я это и танцую.

После этого она и решила, что я одаренный ребенок. Подруга тоже удивилась, сказала:

– Какой мальчик! Ты должна... – Они учительницы обе были. И тогда я вот поступил в школу Айседоры Дункан. Это было тоже недалеко, к Воздвиженскому, к Москве-реке, в тех переулках: нужно было перебежать Плющиху и туда пройти. Тогда это модно очень было. Но мы занимались там главным образом ритмикой. Через ритмику, импровизации через ритмику. Ну и учил сольфеджио и учился играть на пианино.

Потом я часы очень красивые разобрал. Они были на байю. Байю – это такой шкаф с мрамором, с резной работой, с прекрасными инкрустациями по дереву. А на байю очень красивые часы стояли. Кругом зеркальное стекло, открытая эстетика и тогда была. Там столько колесиков красивых, механизмы, и вот я все любовался, любовался, потом решил, что надо их разобрать и снова собрать. Разобрать-то я разобрал, а собрать-то не мог. Потом я Давида просил помочь, но ничего не вышло. Пришлось их в мастерскую отнести. Потом они опять ходили, так что, в общем, все детали-то остались. И остался страх, холодок – придут родители и будут корить... Через годы, когда собираюсь на спектакль, приходят те же чувства.

* * *

Я не могу сказать, что мы были элитарной семьей, потому что ведь это уже было после революции, и папа был какое-то время человеком состоятельным. Но уже сразу он подвергся преследованиям, поэтому это не была такая спокойная семья, где так чинно было расписание: в воскресенье сесть на извозчика или на такси и поехать в театр – это делалось, но весьма нерегулярно, поэтому и запомнились такие походы в театр.

А в школе в театр редко я ходил. В кино мы бегали с братом: Чаплина глядели и так далее. Мы жили довольно сложно. И уже благополучие семьи рассыпалось с каждым днем. Годы были голодные: то карточки, то еще какие-нибудь неприятности, то с папой неприятности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.